

ПО МОТИВАМ ФИЛЬМОВ «БРАТ» И «БРАТ 2»

БРАТ 3

ВОЗВРАЩЕНИЕ

РОМАН

Boost Your Imagination

18+

ВУІ ВУІ

Брат 3: Возвращение

<https://litres.ru/74311192>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Брат 3: Возвращение» — роман-нерв о человеке, который слишком долго был один, чтобы понять, что значит быть кому-то нужным, и слишком честен для мира, где правда давно продана оптом. Это попытка представить, каким мог бы быть путь героя балабановской вселенной в сегодняшней России, спустя годы после событий фильмов.

Данила приезжает в Петербург с одной сумкой, в которой помещается вся его жизнь: свитер с продранным локтем, треснутая кружка, деньги мёртвого товарища. Простая задача, довести их до вдовы, оборачивается спуском в город, где никто не отвечает за свои слова. Брат, спившийся среди недособранных франшиз. Женщина с ребёнком и замазанным синяком на виске, которая исчезает вместе с дочерью. Полиция, для которой он не свидетель, а подозреваемый. Человек в кабинете, который одной фразой закрывает дело и одним взглядом даёт понять: сюда лучше не возвращаться.

Фанфик по мотивам культовых фильмов Балабанова «Брат» и «Брат 2», написанный с уважением к первоисточнику и его автору.

Содержание

Предисловие	4
Глава 1. Хлеб для мёртвых	5
Глава 2. Чужие деньги	9
Конец ознакомительного фрагмента.	18

ВУІ

Брат 3: Возвращение

Предисловие

Эта книга написана с глубоким уважением к фильмам «Брат» и «Брат 2», их атмосфере, героям и авторскому взгляду на время, человека и страну.

Она не претендует на продолжение оригинального сюжета. Это авторская попытка представить, как могла бы развиваться балабановская вселенная спустя годы, в новой России, где прошлое всё ещё напоминает о себе, а старые вопросы так и остаются без ответов.

Она о потерях, которые невозможно исправить, о деньгах, которые не могут ничего вернуть, и о прошлом, которое не отпускает даже спустя десятилетия. Роман-нерв о человеке, который слишком долго был один, чтобы понять, что значит быть кому-то нужным, и слишком честен для мира, где правда давно продана оптом.

Глава 1. Хлеб для мёртвых

Поезд подходит к Московскому вокзалу медленно, вагон вздрагивает на стыках, замирает и снова ползёт, и в коридоре уже стоят и смотрят в окна, хотя выходить ещё рано. Я сижу у окна до последнего. В стекле поверх путей идёт отражение, и в нём человек с седой головой и обветренным лицом, и я смотрю не на него, а сквозь, на составы, что стоят без огней, на кирпичную стену, на людей, которые идут вдоль вагонов и никуда не спешат. Стекло холодное, я держу на нём ладонь, пока оно не сходит от тепла, и убираю руку.

На перроне под ногами тот же мокрый асфальт, над головой та же гулкая крыша, и голос из динамика читает города той самой протяжной интонацией, с какой читал их тогда, только города в списке другие. Я стою и слушаю до конца списка, хотя ни один из них мне не нужен, и потом иду вместе со всеми к выходу, не обгоняя и не отставая.

Двадцать шесть лет я работал там, где брали: ставил опалубку, тянул кабель, разгружал вагоны, стоял вахты по два месяца, и когда работу принимали, её принимали сразу, без переделки. Руки у меня и сейчас ищут, чем себя занять.

Городов было столько, что я перестал их считать, и в каждом сперва казалось, что я приехал надолго. Женщины в этих городах тоже были, и к каждой я приходил вечером, как приходят в дом, где ждут, ставил сумку у порога и дальше

порога её не заносил, и уходил всегда сам. Скучать я по ним не скучаю, да меня об этом никто и не спрашивает.

Из вокзала я выхожу на площадь, и обелиск стоит на месте, и машины идут вокруг него так же густо, и дальше начинается Невский. Кости у города те же, а лицо чужое: витрины в пол, вывески с названиями, которых я не знаю, написанными русскими буквами, кофейни там, где были другие двери. Я замечаю это, не останавливаясь, и иду по правой стороне.

Начинается дождь, мелкий, здешний, и люди раскрывают зонты, и от этого улица делается ниже. Я поднимаю воротник и шаг не прибавляю.

* * *

Город с его шумом улиц и автомобилей остаётся где-то за спиной, а потом обрывается разом, будто его выключили. Перед калиткой я захожу в супермаркет на углу и беру буханку чёрного, и пакет шуршит в тишине, когда я выхожу.

Передо мной кованая калитка Смоленского под аркой, и латунная табличка на ней та же, только буквы подтёрлись и позеленели.

Дальше, за первым поворотом, начинается то же самое, что было всегда: кресты и ограды, мокрые дорожки, вороны в ещё не облетевших ветках, тишина, в которой слышно, как капает с деревьев. Лист на клёнах держится жёлтый и тяжёлый от воды, и там, где он уже лёг, он лежит свежий, ярче земли, и прилипает к подошве.

Я иду по правой дорожке, мимо высокой колоннады и сте-

лы детям, погибшим при обстреле, и они остаются слева, как всегда оставались, а я направляюсь дальше.

Могилы стоят по-разному, и это видно сразу. Одни в чёрном граните, с портретом на всю плиту и золотыми буквами, с гранитной лавочкой и оградой, за которыми ухаживают, кладут искусственные цветы, подметают. Другие осели, покосились, выросли в землю, надписи на них стёрлись до того, что не разобрать, и к ним давно никто не приходит, потому что приходить, видно, уже некому. На одних плитах лист сметён в кучу у ограды, на других лежит как упал.

Склеп с ангелом на колонне стоит там же, и по нему я понимаю, что ушёл дальше, и возвращаюсь немного назад.

Беседка Немца на месте, только узнать её трудно. Железные стены проржавели насквозь и осыпаются рыхим, крыша провалилась внутрь, и сквозь дыру видно небо. Я стою у входа и смотрю, как смотрят на дом, в котором давно не живут.

Внутри, среди битых бутылок, палой листвы и мусора, который натащило ветром и людьми, стоит памятник, и он ещё держится прямо, хотя всё вокруг него легло. Я захожу и подхожу ближе. Камень мокрый и в разводах, но имя на нём ещё можно разобрать, если провести по буквам пальцем, и я провожу, по каждой, будто проверяю, тот ли. Даты стёрлись.

Я возвращаюсь к порогу и достаю буханку из пакета. Хлеб плотный, холодный, с жёсткой коркой, какой лежит на полке в любом магазине в любом городе. Я разламываю его надвое, как ломают, когда делят, и половину кладу на угол памятни-

ка, у самых букв, а вторую держу в руке и не убираю.

Ворона садится на край провалившейся крыши, смотрит боком, потом слетает вниз, берёт хлеб с камня и уходит вверх, тяжело, задевая крылом железо.

Я стою с половиной в руке и жду ещё немного, и ничего не происходит, только капает через дыру в крыше на камень, на буквы, на пустое место, где лежал хлеб. Хлеб в моей руке размякает от дождя, и я убираю его в пакет, потому что выбрасывать нельзя.

Надо будет прийти сюда ещё раз, думаю я, когда будет по-свободнее, и надо будет взять с собой чем убрать, потому что руками тут не справишься, и я прикидываю это на ходу, как прикидывают работу, и до самой арки не могу решить, с чего бы начал. Темнеет рано, свет уже уходит из дорожек. Я поднимаю воротник и иду к воротам, тем же путём, каким пришёл.

Глава 2. Чужие деньги

Домофон у Виктора с камерой, и он открывает, не спросив, кто это, потому что знает с вечера, что я приду. В лифте тихо, едет он без толчка, и на площадке чисто, и пахнет мытым полом.

Дверь он открывает не сразу. Слышно, как он подходит и как стоит с той стороны, и только потом замок щёлкает дважды, и он говорит, ну наконец-то, братишка, и говорит это так, будто ждал не сегодня, а вообще.

Виктор закрывает дверь за мной сам, и после лестницы тепло в квартире кажется тяжёлым, застоявшимся. В прихожей темно, свет он не включает, а идёт вперёд, задевая плечом косяк, и я иду за ним.

В комнате просторно и неубрано: кожаный диван в разводах, на столе початая бутылка и один стакан, на экране висит заставка какого-то сервиса, по которой ползут одни и те же картинки, и её никто не трогал давно. Я не сажусь.

На подлокотнике лежит его телефон экраном вверх, и он то и дело загорается сам, и на нём успевает встать уведомление от банка, где видно только начало строки и сумму. Он берёт телефон, гасит экран ладонью и кладёт обратно, теперь уже вниз лицом, и делает это не спеша, будто просто убирает со стола лишнее. Через минуту телефон загорается снова, уже вслепую, светом в подлокотник, и он на него не смотрит.

Он суетится, ищет второй стакан, говорит без остановки, что вот, живёт, что дела идут, что мог бы и лучше, если бы не люди, которые всё время подводят. Я спрашиваю, как он сам. Он отвечает, что нормально, и тут же начинает про людей снова, с того самого места, и я замечаю, что он ни разу не спросил, где я был эти годы и как.

Он наливает, придвигает мне стакан, поднимает свой и говорит, ну, за встречу, и рука у него подрагивает, и он ловит это и ставит стакан обратно, будто раздумал. Я не беру.

Он смотрит на мой полный стакан, потом на меня, и смеётся, и смех переходит в кашель, и он кашляет долго, отвернувшись, держась за спинку дивана. Я стою и смотрю, как он держится, и как второй стакан он так и не нашёл, и как на столе стоит один, придвинутый ко мне.

Он откашливается, вытирает глаза, говорит, чего стоишь-то, садись, и голос у него уже другой, тихий, и садится первым, на самый край, будто в чужой квартире.

Я сажусь на край дивана, у самой двери, ставлю сумку у ноги, и он тут же придвигает бутылку ближе к себе.

* * *

Он ещё сидит, обмякнув, но пустой стакан на колене не держит его долго, и он тянется к столу, не находит там ничего и грузно поднимается за третьей бутылкой, и, огибая стол, задевает ногой сумку, что всё это время стоит у моей ноги, и сумка мягко валится набок, и застёжка, старая, давно сломанная и подвязанная бечёвкой, расходится, и на пол вы-

кладывается всё, что я вожу с собой уже двадцать шесть лет, и мне неловко, и я нагибаюсь, чтобы собрать, а Виктор, пьяный, любопытный, как ребёнок, опускается рядом на корточки, крихтя, и начинает подавать мне вещи, и разглядывать каждую, прежде чем отдать.

Свитер, серый, толстый, с продраным локтем, я купил его на первую вахту под Уренгоем, потому что своё не грело, и он грел двенадцать зим, и в нём я просидел все ночные смены той зимы, когда вагончик выстывал к утру до инея на болтах. Виктор мнёт его в руках, бросает, ну и рухлядь, и кладёт мне на колени, и я складываю его, как складывал всегда, рукавами внутрь.

Бритва, обычная, со сменными лезвиями, я вожу их в отдельной коробочке, и она ни разу меня не подвела, чего не скажу о людях. Кружка эмалированная, с отбитым краем, из неё я пил чай в поездах от Мурманска до Находки, и по числу городов в ней осело больше, чем в моей голове.

Колонка, маленькая, чёрная, с потёртым боком, перетянутая аптечной резинкой, потому что крышка отсека отходит и без резинки болтается. Я ставлю её на подоконник в вагончике, и она играет то, что скачано, потому что сети там нет через день, и напарники привыкли и просили не выключать «Наутилуса» .

Фотография, одна, бумажная, ещё девяностых годов, с белым краем и мятым углом, я держу её лицом вниз и не переворачиваю, и Виктор тянется, а я убираю руку, и он не на-

стаивает, только смотрит.

Он поднимает со дна плоский пакет, в котором паспорт, трудовая, которую уже нигде не спрашивают, и сложенный вдвое лист из блокнота, а под ними то, что тянет пакет книзу, плотное, обёрнутое в целлофан и перехваченное скотчем в два оборота, и Виктор берёт это обеими руками, потому что одной неудобно, и держит на весу, и смотрит на меня.

Андрей работал со мной в одном вагончике, второй год на одном объекте, койка через проход, и я знал про него только то, что человек знает про человека, с которым делит зиму: что храпит, что чай пьёт без сахара, что есть дочка.

У него висели приставы по алиментам, и с белой зарплатой у него забирали четверть, потому что по закону на одного ребёнка так и берут, и жить на остальное у него не выходило, поэтому он сам просил платить наличными, и подрядчику это было удобно, он так держал полсмены и на этом же экономил.

По бумагам Андрея на объекте не было, а когда его придавило, приехала скорая, а за скорой полиция, потому что человека спрятать нельзя, и в конторе за один вечер посчитали всё вперёд: и что он там работал, и что за него не платили, и что допуска у него не было, и что объект встанет не на неделю.

Если случай признать тем, чем он был, полагается два миллиона сразу и ещё каждый месяц, пока девочке не станет восемнадцать, только эти два миллиона делят в равных до-

лях на всех, кому положено, и на неё одну вышло бы много меньше.

Платит это не контора, а фонд, и только по бумагам, а бумаг на Андрея нет никаких, и пришлось бы сперва годами доказывать в суде, что он там вообще работал, а суд этот тянет за собой и проверку, и комиссию, и экспертизу, и подписи тех, кто держал полсмены вчёрную. А комиссия могла ещё и записать, что он сам полез не туда и был без допуска, и тогда от положенного срезали бы и то, что оставалось.

Спросить за него по закону могли только свои, дочь да родители, а жены у него не было давно, и та, что живёт в Радищеве, ему по бумагам никто и подать может лишь за девочку, потому что дочери одиннадцать и говорить за неё некому, кроме матери. В конторе эту женщину не знал никто ни в лицо, ни по фамилии, а искать её и не пришлось: у полиции были документы Андрея, и в них девочка, и адрес её матери, и в конторе поняли, что бумага сама дойдёт до Радищева, если туда не дойти первыми.

Наверху решили, что дешевле отдать сразу и в руки, и больше, чем дала бы ей любая бумага, чем ждать, пока она дойдёт до суда, и деньги собрали в тот же вечер, и старший привёз их в вагончик и сказал, кому.

В листе рукой старшего записано, что кому причиталось, и внизу общая сумма, обведённая дважды, два миллиона с лишним, и это не расчёт, а плата за то, чтобы имени Андрея не было ни в одной бумаге. Сверху, над столбцом, той же ру-

кой приписано, кому это везти: Елена, Радищево, и больше про неё там ничего нет, ни фамилии, ни улицы, ни телефона, потому что старший списал это с полицейской бумаги на бегу, а спросить было уже не у кого.

Виктор всё держит целлофан на весу, потом кладёт его себе на колено и разворачивает лист, и водит глазами по обведённой сумме, и губы у него шевелятся, как у человека, который считает про себя.

Он поднимает голову и спрашивает, чьё это, и я отвечаю коротко, что парня, который работал со мной, что его придавило на объекте и что это собрано его девочке. Виктор охает, качает головой, приговаривает, что вот беда, что молодой ведь был, поди, что у него самого один знакомый в Америке попал под плиту и остался без ноги, и жалеет он в эту минуту искренне, без притворства, и я это вижу.

Потом он замолкает и молчит дольше, чем нужно, и глаза у него всё это время стоят на листе, и в этом молчании он перестаёт жалеть и начинает считать.

Глаза у него делаются другие, трезвые на миг, и он поднимает их не на меня, а куда-то в сторону телевизора, и выговаривает, что два с лишним, братишка, это ведь не бумажка в сумке, это дело.

Он частит, и голос у него выправляется, как будто он давно всё это про себя перебирал и только ждал повода сказать вслух: пункт выдачи по франшизе, как все теперь работают, зато и вывеска, и приложение, и люди сами идут, потому что

заказ у них уже оплачен и им деваться некуда, и что подписывать надо до пятницы, потому что зону закрепляют за тем, кто подаст первым, а после пятницы её отдадут другому.

Он объясняет, что взнос он берёт на себя, а аренда двадцати метров у новостроек тянет тысяч шестьдесят в месяц, и говорит это так, будто уже подсчитал сдачу с чужого.

Я замечаю, что этих пунктов теперь на каждом углу, по два в одном доме, и он машет рукой и подхватывает это, как будто я ему помог, и подхватывает дальше, вот именно, что на каждом углу, потому и на каждом, что работает, никто ведь не открывает то, с чего не кормятся, и придумывать ничего не надо, надо только встать там, где ещё не встали.

Брат объясняет, что деньги должны работать, а не лежать в целлофане, что те, которые лежат, каждый месяц становятся меньше сами собой, и это не он придумал, это любой скажет, а держать их в банке под процент это для тех, кто боится, потому что процент банк даёт, а забирает всё равно больше.

Я говорю, что деньги не мои и что мне надо в Радищево, там женщина, Елена, ей и девочке это собрано, и дело только в том, чтобы доехать и отдать.

Виктор кивает, соглашается сразу и горячо, уверяет, надо, конечно надо, святое дело, и тут же прибавляет, что Радищево твоё никуда не денется, а зону в пятницу закроют, и что отдать можно и после, хоть переводом, а лучше сперва вложить, потому что тогда и ей выйдет больше, и всем хорошо, и он смотрит на меня и ждёт, и не понимает, чего я молчу.

Я забираю у него бумагу, складываю по старому сгибу и кладу обратно, в пакет, на дно, под свитер, и целлофан забираю у него из рук сам, и он отдаёт не сразу, а придерживает ладонью снизу, коротко, как придерживают чужое, прежде чем выпустить.

Всё моё умещается в одну сумку, и я собираю его обратно в том же порядке, в каком складывал сотни раз, на сотнях вокзалов, быстро и без запинки, будто и не распаковывал никогда.

Виктор смотрит, как я затягиваю бечёвку на застёжке, и открывает рот, и не выговаривает ничего, и рука у него остаётся приподнятой, будто он собирался что-то показать и забыл что.

Я поднимаюсь, ставлю сумку у ноги и прошу воды. Он идёт на кухню, и там открывается кран, и вода бьёт в дно раковины сильнее, чем нужно, и течёт долго, и он её не закрывает. Потом кран смолкает, и в кухне тихо, и стакана он не несёт, и я стою и слушаю эту тишину, и в ней слышно только, как капает с крана в мойку, по одной.

* * *

Виктор возвращается с кухни не с водой, а с чайником и двумя чашками, разными, одна с отбитой ручкой, и ставит всё на стол, сдвигая бутылку в сторону, и говорит, что хватит на сегодня, что ну её, и я вижу, что он говорит это не мне, а себе, и что ему это далось не сразу. Он разливает чай, и руки у него уже не так дрожат, и он садится не в кресло, а рядом,

на диван, и мы сидим и пьём, и в первый раз за весь вечер он молчит и не боится молчать.

Потом он начинает говорить снова, но по-другому, тише, без похвальбы, и вспоминает не то, чем хвалился, а то, что было до всего, двор на Васильевском, как мать гоняла нас с чужих крыш, как отец однажды взял его на завод и как там пахло железом и маслом, и он говорит, что запах помнит до сих пор, а лица отца уже нет, стёрлось.

Я слушаю и вставляю по слову, и он радуется каждому моему слову, как будто я редко говорю, и это правда, я говорю редко, а с ним сегодня почему-то говорю. Он спрашивает про армию, про то, откуда я тогда пришёл такой, и я рассказываю немного, не всё, а он не выпытывает остального, чувствует, где остановиться, и это в нём осталось с детства, он всегда чувствовал, когда я закрываюсь.

Мы смеёмся над чем-то мелким, над тем, как он в семнадцать лет угнал соседский мотоцикл и утопил в канаве, и смех у него теперь чистый, без кашля, и на минуту он делается тем, кем был, старшим, которому я верил без разбора.

За окном давно темно, и чай остыл, и Виктор зевает, прикрывая рот тыльной стороной ладони, и говорит, оставайся, куда ты на ночь глядя потащишься, диван разложим, бельё есть, чистое, и смотрит на меня так, будто от моего ответа зависит больше, чем ночлег. Я смотрю на телефон, и метро уже закрыто, и во дворе под окном никого, только мокрый асфальт под фонарём и чужие машины, стоящие до утра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.